



Н. Ф. ФЁДОРОВ

Три статьи о Толстом

1. Что такое добро

I

Подобно тому как у Соловьёва под «оправданием добра» заключается осуждение и отрицание лишь порока, так и у Толстого. Хотя под видом эстетики («Что такое искусство?») Толстой и написал этику, тем не менее он знает лишь отрицательное добро, знает, что оно не есть, и не знает, *что оно есть*. Под искусством же Толстой понимает только передачу чувств от одних к другим¹, а не *осуществление* того, что *каждый* носит в себе в передуманном и перечувствованном виде, если только он истинный сын человеческий, носящий в себе образы своих родителей и предков, — как бы это должно быть, а не блудный сын, — как это обыкновенно бывает, — сердце которого обращено к вещам, имуществу. Причём, искренно или неискренно, это своё пристрастие прикрывают обыкновенно заботою о детях, о будущем, т. е. о продолжении эфемерного и бесцельного существования. Не в *осуществлении* того, что носит в себе сын человеческий, видит Толстой цель искусства, а в объединении в одном чувстве, содержания которого не знает, и когда называет, по рутине, <это чувство> братским, то забывает, что люди братья лишь по отцам, предкам, а забывши отцов, делаются чужими; следовательно, то, что Толстой называет братским, вовсе не братское.

Что счастье Толстого скорее этика, чем эстетика, видно из того, что красоты он не признаёт², а добро признавать, по-видимому, желал бы, — но какое добро?!.. Добро, говорит Толстой, — «*никем определено быть не может*»³. Но добро потому и не может быть определено Толстым, что он допускает лишь добро отрицательное... Если будут исполнены заповеди — «*не убий*» или «*не воюй*» (если это больше нравится), — *не прелюбодействуй, не укради, не лжесвидетельствуй, не судись*, т. е. не

ссорься и т. д., то не будет только зла, и притом зла лишь наносимого самими людьми друг другу, и можно будет сказать, что *не есть* добро, в чём нет добра, но нельзя будет сказать, что оно есть, в чём состоит добро, т. е. отрицательно определить добро мы можем, а дать ему положительное определение, по Толстому, нельзя. Если, однако, не будет *убийства*, т. е. не будут отнимать *жизни*, если не будет *прелюбодеяния* (берём это в самом обширном смысле), т. е. если не будут давать жизнь другим, отнимая её у себя, или же если не будут отнимать жизнь у себя, не давая её даже и другим (проституция); если не будут красть, т. е. отнимать средства к *жизни*; лжесвидетельство также может вести к лишению жизни и ведёт, во всяком случае, как и всякая ссора, — к ослаблению её, к приближению смерти... Что же останется, если будут исполнены эти заповеди, устраняющие лишь зло, предписывающие даже не сохранение, а лишь не отнятие *жизни*, — останется всё-таки *жизнь*. Итак, идя даже путём отрицательным, мы приходим к определению, что такое *добро*, — *добро есть жизнь*. Добро отрицательно будет не отнятие лишь *жизни*, а *положительно* — сохранение и возвращение жизни. Добро *есть сохранение жизни живущим и возвращение её теряющим и потерявшим жизнь*.

Таким образом даже из того, что проповедует Толстой, по строгой логике выходит, что добро состоит в воскрешении умерших и в бессмертии живущих. Такой вывод должны признать все, или же пусть докажут нелогичность этого вывода. Признав же логичность этого вывода, признавать сохранение и возвращение жизни лишь настолько, *насколько это якобы возможно*, значит позволять себе произвол и по своему произволу полагать пределы добру, — что и есть величайшее зло, преступление против всех умерших и живущих; это значит допустить произвол подобно Толстому, который сказал, что добро «*никем*» будто бы «*определено быть не может*»; а между тем, если бы он не приписывал себе безусловного авторитета, ему следовало бы сознаться в собственном лишь бессилии (а может быть и в недостатке лишь смелости) определить, что такое добро, а не говорить, что оно никем определено быть не может. Нельзя, впрочем, не заметить, что утверждая, будто добро никем определено быть не может, Толстой сам, и по крайней мере дважды, определяет, что такое добро. Между прочим, Толстой видит добро, как выше сказано, в осуществлении братского единения людей, и это без вся-

кого отношения к умершим отцам, по которым только мы и братья. А между тем только для осуществления добра, требуемого строгою логикой, а вместе и детским чувством, т. е. сыновнею и дочернею любовью, во исполнение завета Христа — «будьте как дети», т. е. как сыны, как дочери, — и может осуществиться «*братское единение людей*», т. е. сынов и дочерей; только во исполнение долга воскрешения может осуществиться и братское единение людей, потому что для осуществления этого долга нужно соединение людей, как разумных существ, в труде познания слепой силы, носящей в себе голод, язвы и смерть, для обращения её из слепой в управляемую разумом, из смертоносной в живоносную; а в этом именно (т. е. в возможности обратить природу из слепой в силу, управляемую разумом, из смертоносной в живоносную) и заключается то, без чего все искусства оказываются бессильными для устройства братского единения, ибо пока «*полчеловечества голодает*», до тех пор братских отношений между людьми быть не может. Если бы искусство и убедило часть человечества уморить себя добровольно голодом для того, чтобы спасти другую часть от голода, то уморившие себя поступят, конечно, по-братски, а принявшие такую жертву и оставшиеся жить, — как назвать их поступок?..

Справедливость требует сказать, что всё, предлагаемое Толстым для объединения, было уже испытано церковным христианством, ибо в храме христианская церковь соединила все искусства для действия ими всеми в совокупности, и однако это к братству не привело. Попыток устроить братство, не обращая *внимания на причины, которые делают людей небратьями*, т. е. поселяют между ними вражду, было так много, что история потеряла счёт таким попыткам.

В сущности, ничего нет неверного в определении искусства — «*передачею сильного чувства, испытанного каким-либо человеком из народа*»⁴; определение это чрезвычайно лишь ограничено и только формально. А между тем в это же определение, не ограничиваясь одною формою, можно было бы включить и всё содержание и все средства, коими может располагать искусство. Искусство по существу своему есть не передача лишь, а *осуществление* всеми способами, всеми силами, какими только могут располагать сыны и дочери человеческие в их совокупности, *осуществление того чаяния* или желания, которое возбуждается под влиянием самого сильного чувства, какое только могут

испытать люди, под влиянием чувства, вызываемого смертью самых близких людей, т. е. родителей, чувства столь же общего всем людям, как обща всем смерть, которая потому и может всех объединить. Передача чувства теми, которые сильнее чувствуют, тем, которые чувствуют слабее, имеет лишь временное значение и большой важности в себе не заключает, потому что для смерти нет нужды в красноречивых толкователях, чтобы оказывать могучее действие к объединению, в особенности, если будут приобретаться всё новые и новые средства для воздействия на умерщвляющую силу. Только в деле возвращения жизни всем умершим могут объединиться все живущие, без этого же никакое красноречие и никакие художественные средства братского единения произвести не могут... Противодействием этому объединению служат все соблазны, совокупность которых можно видеть на всемирных выставках... Какое искусство может победить эту выставку, которая втянула в себя все искусства?

11-го июля 1898 года.

г. Воронеж

2. Об истине и красоте в статье Толстого «Что такое искусство?»

Судя по серьёзности писателя и по чрезвычайной важности предмета, какова истина, нужно полагать, что определение истины сделано не кое-как, а с самою строгою точностью. Самое презрение, которое писатель выражает к истине, требовало от него тем паче осмотрительности и величайшей строгости в определении. Так мы и принимаем определение истины, сделанное в статье «Что такое искусство?»!

Если истина, по словам Толстого, есть только соответствие определения предмета с самою его сущностью, — то, во всяком случае, чтобы быть истиною, определение предмета должно иметь исчерпывающую полноту, т. е. <обнимать> все его свойства, явления, в нём и на нём происходящие. Если же сущность предмета, как говорит Толстой, равна всеобщему всех людей пониманию предмета, то это, конечно, означает безусловное обладание предметом. Принимая же за предмет истины всё, подлежащее знанию, всю вселенную, не исключая и людей в их прошедшем и настоящем, а за познающих (или понимающих)